

Игорь Белкин-Ханадеев

16+



БОЖИЙ КОНТИНГЕНТ

Проза
Избранные стихи

Игорь Белкин
Божий контингент

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Белкин И. А.

Божий контингент / И. А. Белкин — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Электронная версия первой книги избранных произведений писателя Игоря Белкина, известного как Игорь Белкин-Ханадеев. В сборник включены повесть "Петли для рябчиков", рассказы "Дезертир", "Иван Иваныч", "Плакун", "Белый мальчик" и "В васильковых полях", а также некоторые стихи. В оформлении обложки использована фотография автора.

© Белкин И. А., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Игорь БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ

БОЖИЙ КОНТИНГЕНТ

Проза, избранные стихи

СОДЕРЖАНИЕ

"Из попутки с рассветом вышли..."

ПЕТЛИ ДЛЯ РЯБЧИКОВ

повесть

ИВАН ИВАНЫЧ

рассказ

ДЕЗЕРТИР

рассказ

ПЛАКУН

рассказ

БЕЛЫЙ МАЛЬЧИК

легенда

В ВАСИЛЬКОВЫХ ДАЛЯХ

рассказ

Стихотворения

Из попутки с рассветом вышли,
Покидав рюкзаки в кювет.
Сильно пахло цветами и вишней.
И бензином тянуло вслед.

– Поглядишь, откуда мы родом, -
Вёл отец меня полем к жилью:
Деревенька в три огорода
Опрокинулась в колею.

Пустоцветами смотрим в небыль.
Навевает тоску ветерок.
Задрожало бескрайнее небо
В голубых разливах дорог.

Всё распахнуто ветру и водам -
Рассевай, поливай, мели!

Ту лазурь, из которой мы родом,
Закрутили вихри в пыли.

Зашумели прогибы кровель -
Плакал дождь, отпуская грехи.
Со стены почернел, посуровел
Старый дом на раскрестье стихий.

Ветер сгинул. Из сумрачных далей
Солнце тянет слепящую нить.
Просветлело. – Ну что, повидали?
Нам попутку ещё ловить...

ПЕТЛИ ДЛЯ РЯБЧИКОВ

Повесть

1.

– Тридцать семь и восемь, – рассмотрел Николай деления на градуснике, вровень с которыми, наконец, остановился серебристый столбик. – Да-а, самая туберкулезная температура...

Говорил он вполголоса, как будто сам с собой, но и достаточно громко для того, чтобы мог услышать и засовеститься брат Саша. Ещё утром, когда шли сборы в магазин, когда Николай, надрывно кашляя, жалуясь на озноб, доставал из шифоньера линиялы, выдавшие виды рюкзаки, вытряхивал их, шарил на полках в поисках пакетов почище и покрепче, брат тоже оживленно суетился рядом. Но едва сыновья Николая получили от отца деньги и строгий наказ самогонку не брать и по поселку не болтаться, как их дядя Саша вдруг потерял к поездке интерес, вдруг тоже сообщил, что занемог, затряс коленками и вновь полез на свой топчан под ватное одеяло. К поезду ребята ушли одни, и в быстро остывающей избе на какое-то время воцарилась тишина. Николай положил градусник на тумбочку рядом с бокальчиком, в который ему, уходя, натолкли клюквы с сахаром и налили кипятку.

– Шурик! – гаркнул Николай в сторону топчана сквозь кашель. – Лежанку бы подтопить...

Брат заелозил, зашуршал соломенным тюфяком, но ничего не ответил.

– Чего молчишь? – не унимался Николай. – Думаешь, племяши тебе сейчас выпить привезут? Хрен ты угадал! Кончилась тебе лафа!

И снова в доме Степановых повисла вязкая выстуженная тишина – казалось, что все звуки, какие были, – и тиканье часов, и далекий лай собаки, и гудение старой проводки, – все затаилось, спряталось под непроницаемым Сашиным одеялом, словно боясь себя выдать.

– Шурик, – уже негромко и безразлично долетело до топчана. – Ты чего с ребятами-то не поехал?

– Мочи нет, – глухо отозвалось из ватного кокона.

– Артист! А глушить все лето пылинский самогон мочь у тебя была? – снова начал заводиться Николай. – Вот что я тебе скажу – не захотел ехать за продуктами, тогда и жрать неделю не будешь!

– И кухарить тогда не буду, – из-под одеяла высунулась со свалянными сивыми волосами какая-то маленькая, усохшая что ли от пьянки братова голова, на испитом красном лице задвигались-заморгали мутные бочажки глаз. В них готова была вспыхнуть затравленная злость. – И топить не буду, пусть Славец с Пашкой носят дрова и топят.

– И жить тогда тут не будешь, пёс поганый, Джегер чёртов! – В единственном Николаевом легком заклокотало, забурлило. Задыхаясь, он приподнялся, нашарил на тумбочке что-нибудь подходящее – и через мгновение в Шурикову голову полетела чайная ложка, но миновав цель, звякнула об стену и упала за топчан.

– Бессовестная твоя рожа!

За ложкой последовал бокальчик с клюквой. На этот раз Николай попал – с плотным чпоком бокал врезался Джегеру в бровь, отскочил, гулко застучал по дощатому, давно не метённому полу. Шурик взвыл, размазывая по лицу кровь и морс, раздавленная клюквина повисла на мокрых усах, еще несколько ягод разметалось по одеялу.

– Пёс! – повторил Николай и обессилено повалился на свою кушетку. Даже без натопленной лежанки ему почему-то стало жарко. – Пёс и есть...

Николай лежал и думал, что вот, не успел кончиться один озноб, похмельный – закономерная и неизбежная плата за летние месяцы куража и забытья, – как с болью подступил откуда-то изнутри, из измученного легкого, второй, куда более пугающий. "Если снова туберкулез, то тогда всё" – и Николай, пятидесятидвухлетний глава мужицкой семьи Степановых, властный хозяин дома и усадьбы и просто сильный человек, долгие годы в одиночку поднимавший своим горбом двоих сыновей, впервые беззвучно заплакал...

Полусгнившие шпалы клацают и клацают под ногами. Крепящие их к рельсам ржавые гвозди-костыли изнашивались, сбитые кувалдами порыжелые шляпки торчат вкривь и вкось. На некоторых участках пути их, видать, и вовсе поменяли: отработавшие свое, каждый в полкило весом, железные в бурой рже и битуме штыри эти валяются по ту и другую сторону рельсов. Пашка со Славкой доберутся до них, как только доведут до ума свою, на кирзовом ходу, каталку-дрезину. Выберут окно побольше между товарняками, и тогда их запас металлолома на черный день еще немного пополнится. Жаль – железо дешевое и тяжелое – его лучше накапливать потихоньку, и когда уже наберется на грузовик, тогда можно высвистывать приемщика с машиной, тогда и денег выходит со всяких труб, костылей да старых кровельных листов вполне солидно. Лучший навар, конечно, с меди – закинули в сумку пару катушек проволоки, сгоняли налегке, – и пожалуйста: неделю все сыты и пьяны, и нос в табаке, если кто курит. Только где ее наберешься, меди-то...

До неведомского поворота, скрытого за туманными синими елками, еще шагать и шагать. На речке Неведомке, полвека назад пущенной под насыпью в широкую железную трубу, – прямо на бетонной плите, которой ту трубу накрыли, чтобы проложить полотно, – братья Степановы, волочащие теперь каждый по рюкзаку и по несколько пакетов со снедью из поселко-

вого магазина, по обыкновению уговорились сделать привал. Ведь и в поселке еще пришлось натопаться: бегали и на почту, ждали, когда откроет крашенный синей краской замок ленивая почтарка. Ходили в аптеку на другой конец поселка за лекарствами и инъекциями для отца, хотя нужных и не оказалось. А еще ждали, когда живший по соседству с аптекой старый Юра Шут выберется с огорода и, судя по звукам из полуоткрытой двери, – перевернет вверх дном пол-избы, кряхтя вынесет и, наконец, отдаст проплаченный впрок на той неделе из личных Славкиных денег литр первача.

От отца Слава слышал, что Шут не местный, когда-то давно перебрался в Пылинку сразу из тюрьмы, отбыв долгий-долгий срок. Некоторые прибалтанные пылинские ребята Шута уважали безгранично, поговаривали, что он чуть ли не бывший вор в законе. Во всяком случае, перстни, щедро и густо наколотые у него на фалангах пальцев и успевшие за долгую жизнь расплыться и подвыцвести, смотрелись серьезно. Интересно было бы узнать, за что он сидел...

От неведомской плиты до дома останется километр, который Славка с Пашкой одолели бы в любом состоянии, с любым грузом, хоть ползком, хоть с закрытыми глазами, в жару либо в метель.

Этот привал, после восьми километров сбивчивого, неудобного хода по древним шпалам, – то скользким в дождь, то пышущим тяжким битумным духом от палящего солнца, а то и вовсе незаметным в снегу в февральскую поземку, – замышлялся братьями всякий раз как короткая остановка на глоток горячительного, на перекур, как передышка перед последним после поворота, прямым уже, участком железки. И почти всегда эти посиделки на бетонной поляне с видом то ли на речку, то ли на болото с черно-сизой угрюмой водой, на кочки, мертвые березки и в унылой дали – на мрачное хитросплетенье бобровых хаток – затягивались ненадолго. Усталость и гиблый пейзаж наводили на безрадостные мысли о жите-бытье; в этом самом месте, где железная дорога выпрямляла свои лесные петли и откуда вела уже прямую к станции Друлёво, вдруг усиливался извечный страх Славки и Пашки Степановых перед неминуемым недовольством отца, который, отправляя сыновей одних ли или с Джегером будь то за харчами, лекарствами или просто за вдогоночной выпивкой в поселок Пылинку, всегда одинаково нервно и не по-доброму ждал их возвращения.

Вот и сейчас они пропустили обратный поезд из Ландышева, пока, томясь и дергаясь, дожидались заковырявшегося Шута; отец в этот раз всерьез разболелся, затемпературил, но, тем не менее, дотошно рассчитал деньги на каждый продукт и время на посещение сельпо, почты и аптеки. Двадцать минут закладывалось на обратную дорогу в Ландышевском поезде – тяжелой тепловозной сцепке, медленно тянущей со скрипами и стонами по ветхим ржавым рельсам единственный пассажирский вагон.

Шут подвел, и железнодорожный общественный транспорт, выпустив пару дедов и ремонтника в оранжевой одежде на полусгнившие руины пылинского деревянного перрона, проскрипел дальше. Ребята на поезд опоздали и пошлепали пешком.

Ландышевский считался пригородной кукушкой, его пускали туда-обратно раз в неделю по средам. Хоть и был этот поезд, точнее – вагон, по столичным меркам – убитым, старым, с отрывающимся от всех пятидесяти шести сидячих мест пошарпанным бурым кожаном, содержался он, насколько возможно, в чистоте, в нем посменно работали две бригады проводников – поддерживали порядок, зимой топили и, самое трудное, – собирали деньги за проезд. В одной из бригад была проводница, молодая совсем девчонка, и Славка, положив на нее глаз,

как только доводилось попасть в поезд в ее смену, все двадцать минут от Пылинки до Друлево или обратно, страдал и мучился оттого что он, некрасивый, со слишком близко посаженными глазами, с подломанным в детстве еще носом, с одинокими жесткими волосинами ни в какую не растущих усов и бороды, гнилозубый в свои двадцать с хвостиком, если, бывало, что чисто стиранный, то уж тогда обязательно не глаженный, – никогда не сможет обратить на себя внимание этой ухоженной, свежей, с аккуратной косичкой, румяной барышни в новеньком проводничком кителе. То, что ее зовут модным именем Ангелина, Славка узнал окольными путями, от других проводников, робея спросить напрямую, и решил, что имя ей очень подходит.

По всему было видно, что она – девушка городской культуры, и однажды Славке стало особенно стыдно за весь их местный деревенский убогий уклад, за себя и за своих соседей из Новосёлок – деревеньки километрах в трех от Друлево по грейдеру. Вячеслав ехал в тот день из Ландышево, иногда прислушиваясь к разговору двоих пассажиров, что сидели позади него. Явно охотники, в камуфляжных с иголки бушлатах, выбритые, с длинными импортными чехлами для ружей – наверно, каких-нибудь многозарядных "ремингтонов", а не простецких наших тулок, – мужики беседовали между собой не слишком громко, но без умолку и с почти праздничным предвкушением – о предстоящей охоте, о повадках зверей, о трофеях прошлых лет. В Пылинке поезд стоял минут пять, вид из окон сквозь морозные узоры на стеклах чем-то обрадовал этих, судя по всему, если не москвичей, то уж точно тверичан с ружьями, они улыбались грядущим метким выстрелам, зиме и таким уютным, когда смотришь из вагонного окна, сельским домишкам. В этот момент на мостках Пылинского перрона началась какая-то кутерьма, следом и тамбур наполнился криками, свистом, гарканьем – вагон штурмовали новоселковские Петровы. Галина, которую все называли Галька Рыжая, и два ее от разных мужей сына-переростка Васька да Серега, напустив холода в вагон, то переругивались с проводниками, то божились и умоляли их, то искали мелочь в карманах, выворачивая все их содержимое.

– На выход! – старший проводник, пожилой, с красной быкастой холкой, был неумолим. Ангелина поднимала и пыталась сосчитать копеечки, вытряхнутые вместе с семечной шелухой на пол. На проезд все равно не хватало.

– Да в следующий раз заплатим, – развязно обещала визгливо-хриплая Галька.

– Друлевские? – уточнял проводник сквозь гомон.

– Хуже. Новосёлковские, – петухом орал младший Галькин отпрыск, играя жилами на бритом, в порезах, черепе. "Обрили от вшей что ли?" – подумал Славка.

– Да тихо, Вась! – одергивал брательника Серега, который выглядел постарше и почище.

– А вы не думайте, что это мои хах-хали, это дети мои, де-ети, сыноч-чки... А-ха-ха... – хрипела Рыжая, у нее был один желтый зуб в черном провале рта, обведенном малиновой помадой, – и, улыбаясь, пьяно морщила конопатое лицо.

Тепловоз набирал свою непырткую скорость, вагон уже покачивало, проводник смирился и приказал:

– Сойдете на ближайшей станции.

– А куда де-енемся, – нагло цедил младший Галькин отпрыск, – сюда, мам...

Компания рассаживалась по вагону. Славка услышал, как Ангелина вполголоса жалуется напарнику:

– Достали уже эти друлевские. Почему мы таких пьяных сажаем в вагон?

Он подумал, что нужно будет обязательно сказать ей, что они не друлевские, а новоселковские, что друлевские совсем другие, такие, как он, Вячеслав Степанов, но понял, что ей-то, наверно, без разницы, что они все кажутся ей одинаково неотесанными, опасными, источающими вьезвший неизводимый сивушный дух, жалкими в своих ватниках, на которые налипли опилки, семечная шелуха, перья, грязь.

– Мам, нале-ей, – опять заорал Вася.

Серёга ткнул пудовым кулаком брату в темечко.

– Серёг, ты чё?

– Умолкни!

– Ша оба! – крикнула мать. – А то не налью.

Наконец успокоились, зашебуршали. Звякнули бутылкой. Стало опять слышно, о чем тихо толкуют охотники.

– Ну тут и контингент! – уничижительно сказал один из них. Славку это заело: он было хотел встать, развернуться да и вклепать сказавшему это едкое мудреное слово по морде, но чего-то испугался – то ли их ружей, то ли их трезвой холености и уверенности в своем праве на такие слова.

Посмотрев на свои огрубелые красные руки, на пальцы, изъеденные древесной смолой, все в заусенцах, с обгрызенными грязными ногтями, Славка подумал: да уж, и он, выходит, тоже – контингент, не более. Почему-то и охотники, и проводница Ангелина, по которой он сох еще каких-то пять минут назад, оказались вдруг по другую сторону черты, которой Слава мысленно разделял людей на фартовых, у которых все хорошо и чисто, и бродяг вроде него самого, бати с Джегером, брата Пашки, Петровых. Когда-то и Галька Рыжая была по другую сторону. По словам отца, к медноволосой красавице Галине просто так было не подъехать, ухажеры насмерть дрались за нее, а теперь вот уже не ухажеры, и не «хах-хали», а родные сыновья дерутся за бутылку, которую она, оставляя себе на опохмел, занюхивает в кармане.

В Друлево вся новоселковская тройка долго выходила: вываливались друг за другом из тамбура, обещая в следующий раз точно заплатить, наконец, уже внизу, под станционным фонарем, Петровы собрались, пересчитались, допили бутылку и неспешно двинули восвояси. А Славка, прыгнув с тамбурной подножки на мерзлую друлевскую землю, огляделся и отметил, что охотники любят из вагона очередным уютным видом. "Наверно, едут до Заречья или до самого конца, до Приозерска", – подумал он и, дождавшись, пока поезд тронется с места, быстро показал им кулак.

Еще по этой старой железке, помимо товарняков-лесовозов, ходил, кланяясь каждому столбу, московский поезд: из столицы в пятницу поздно вечером, а обратно, возвращаясь от самых берегов Приозерского водохранилища – в ночь с воскресенья на понедельник. В Богом забытых Пылинке и Друлево по какой-то исторической инерции состав из Москвы традиционно останавливался, и этим пользовались столичные и тверские дачники и охотники, благо, пустых брошенных домов на продажу в окрестных деревнях стояло хоть отбавляй. Когда-то после войны здесь расположился большой и нужный советскому хозяйству леспромхоз, питаемый кадрами в основном из Пылинской колонии-поселения. Станционная деревня Друлево тоже выросла как необходимое леспромхозу связующее транспортное звено. Теперь же, в начале века двадцать первого, если Пылинка еще как-то выживала, то станция, несмотря на летний десант дачниц с внуками и сезонные наезды охотников-одиночек, находилась вместе с большинством коренных жителей, постройками и инфраструктурой в состоянии вымирания. Даром что места глухие, грибные, ягодные, кишасшие зверьем, манили людей, уставших от цивилизации и жаждущих неприхотливого малолюдного уклада – вымирали, едва успев обосноваться здесь, и эти добровольные отшельники.

Одним из таких был тихий, не от мира сего старик, купивший в начале девяностых ветхий, практически непригодный для жилья домишко совсем на отшибе, где-то за огородами и запустелыми выгонами в той стороне, где стоял дом Степановых, но одинаково далеко и от Степановых и от железной дороги, почти в подлеске с одичалой малиной. Звали этого старика Иваном Игнатьевичем. Узнав от старожилов, что в подлесок любят наведываться медведи и потому в этом месте уединенно селиться опасно, Игнатьич странно отреагировал, сказал, что так даже лучше, что раз ходят медведи, значит меньше спуют люди и от этого будет тише. Печь в его избушке уже накренилась, полы подгнили, а крыша в коньке просела так, как будто на все это строение пытался сесть верхом гигантский шатун.

Поселился старик в зиму, приехав уже насовсем из крикливой многолюдной Твери с одним узлом и большим черным ящиком-футляром, к которому были продуманно приклепаны ранцевые лямки. В этом футляре он вез сюда, в глухомань, купленный им когда-то с рук трофейный немецкий аккордеон. Иван Игнатьич был композитором и любил полное безмолвие, потому что только в нем он мог слышать свою музыку.

Славец помнил один из январских морозных дней своего детства, когда над упрятанной в сугробы избой-берлогой, из съехавшей на бок трубы, поднимался белый, зримо неподвижный, словно мраморная колонна, печной дым и где-то далеко от земли, подхваченный высотными ветрами, растекался, уплывал в неведомое длинными белесыми нитями. И Слава услышал музыку, – сложно, уступами, взлетами, стекалась она к берлоге из сияющих вокруг снегов и, собравшись в мощный плотный звук аккордеона, казалось, уходила вместе с дымной колонной в ультрамариновое безразличное небо. Жаль, но живой аккордеон и музыку Ивана Игнатьевича с того дня больше никто в Друлево уже не слышал – старик занедужил, его забрала к себе сердобольная женщина Лена из местных, бывшая медсестра Ландышевской райбольницы. Но и под присмотром он протянул недолго – старость есть старость и каждому назначен свой срок.

Клац, клац – стучат под пашкиными кирзачами шпалы; одноколейка, разбитая товарняками с лесом, исхожена младшим Степановым на полсотни километров и в ту, и в другую сторону. Но сегодня очень много поклажи – на бакалейные запасы положили весь остаток отцовской инвалидной пенсии. Дядя Джегер с ребятами на этот раз не пошел, сказался совсем хворым – "мочи нет идти", – сука, синяк и филон – смекнул, когда батя давал денег, что много

тащить придется, и что самогон не брать – тоже слышал! Ну и слава богу, а то бы, расхмелившись в поселке, уже бы нажрался по дороге, и тогда племяшам еще и непутевого дядю пришлось бы тащить... Пашка утомился и сильно отстал, опустил голову, изучая труху на шпалах. Вот битумное пятно, вот непонятный гриб, вмятая пластиковая тара от напитков, тряпки, вот женская гигиена, спущенная, видать, с толчка московского поезда в ночи, валяется грязно-серым комком – ее он видел еще в прошлый раз, когда возили сдавать в Ландышево два мешка с алюминиевым разноросом, а возвращались оттуда на своих двоих. Как же быстро тогда улетели вырученные деньжонки! Старший Славка с основной долей груза прет уже далеко впереди как танк, за поворотом его не видно, слышно чваканье его разбитых зимних кроссовок, которые лет пять назад подогнала Славцу на совершеннолетие тетка из Выборга.

– Хрен Джегеру нальем, – твердо сказал Слава, объявив привал и шмякая рюкзак с крупами и тушенкой на бетон. Пакеты братья составили вдоль рельса поаккуратнее, присели сами на рельс, подложив под себя обломки серой доски.

– Да уж, обойдется, – отозвался Пашка, прикуривая сигаретину. Затянулся, потом сплюнул, вытер пот со лба, выцветших белесых бровей. – Крыса он... Слав, а знаешь чего?

– Чего, Паш?

– Помнишь, мы с Джегером вдвоем ездили в Пылинку с месяц назад?

Славка помнил, в тот раз Пашка рассказывал, что в поезде была Ангелина, что у нее появилось на пальце золотое колечко и вроде даже на безымянном. И Слава тогда малость подосадовал, но виду перед братом не подал и лишь отмахнулся, как будто ему напомнили о давно перенесенной детской болезни. Пашка продолжал:

– Пока ехали, терли с ним за жизнь. Так вот Джегер сказал...

– Чего сказал-то? – Слава спросил недовольно и нетерпеливо, сердился, что его опять ненароком заставили вспомнить проводницу из ландышевского. Птичка-то уже улетела...

– Что ему ничего в жизни не интересно кроме как набухаться. – Пашка сощурился изпод белобрысого чуба, будто приготовил, но еще не состроил насмешливую гримасу. Ждал, что скажет на это старший брат.

– Это что ж за жизнь-то такая, что единственная радость набухаться... – не сразу отозвался Славка.

– А еще Брониславич уехал. В Приозерск, вроде – внучка там родилась. Няничить будет, – поделился Пашка новостью.

– Все нормальные разъезжаются, – вздохнул Славка.

– Да, а вот батя наш... – перевел на более близкую тему Павел.

– А чего батя? В смысле?

– Болеет взаправду или с бодуна дуркует, как Джегер?

– Боится батя, что тубик опять... Чего спрашивать-то, все сам знаешь. Утром говорил, тридцать семь и шесть. Бухать ему нельзя вообще. Куда ему с одним легким... А он все лето без передыху. Джегер-сука его подбивает...

Славка, тоскливо умолк. Потом вдруг, совсем некстати, уморно засмеялся и несколько раз, заливаясь, повторил:

– Дядя Джегер, блин...

Оба затихли. На лоне суровой природы, где-то расцветшей багрянцем, где-то увядшей и омертвелой, но все равно манящей, хотелось посидеть подольше, оттянуть тот момент, когда они завалятся в сени, когда батя, нахмутив брови и топорща поседевшие усы, пристанет с докучливыми строгими расспросами, когда опять возникнет неприятное, холодящее душу ощущение, что Николай Степанов видит своих отпрысков насквозь, будто просвечивает рентгеном и прожигает лазером одновременно. Пашке проще, он компанейский, но примитивно устроен, и поглупее, и подеревянное Славки – вот школу бросил в свое время, даже седьмой класс не дотянул. В ландышевском профспецучилище, куда Пашку запихнули накануне его шестнадцатилетия, чтобы дать возможность дотянуть хотя бы вечернюю восьмилетку и попутно овладеть профессией электрика, младший Степанёнок проучился всего четыре месяца, и, набив себе по дурости блатных наколок, под Новый год протопал до дома по шпалам тридцать семь километров в двадцатиградусный мороз. От очень крутых разборок с батей Пашку спасло то, что у старшего поколения братьев Степановых – бати и дяди Шурика по прозвищу Джегер, Новый год начался на неделю раньше календарного срока, и к прибытию Пашки праздник был в самом разгаре. На вопрос родителя "Как учеба?" младший сын, махнув рукой и выругавшись, сообщил, что теперь научит батю как не платить за электричество.

– И то добро, – равнодушно отреагировал тогда отец, заедая стопарь клюквиной.

Еще Павел привез из училища новое музыкальное пристрастие и кассеты с дисками, которые пришлось поискать на чем слушать. Рок-группа тянула песни про чертей и водяных, было что-то матерное и про колхозную жизнь, и эту близкую тему Пашка часто цитировал и напевал.

Не отстала от жизни и старшая линия братьев Степановых: Николай с серьезным лицом часами слушал один-единственный лирический медляк про утопленника – в тексте его, вроде, вытащила на берег русалка, но вне воды засохла и превратилась, ни жива ни мертва, в березу – как у них на неведомской заболоти. А спасенный дурень влюбился и от безысходности опять бросился в омут. Джегер оценил что-то совсем inferнальное про чертей, и спяну частенько выл: "У-уу-уу, нас ждут из темнотыы-ыы...".

Пашка, хоть и балагурный, очень рукастый, работающий и сметливый – один хрен, раздолбай. Дураку уже почти восемнадцать, а он, по весне встречая в ночи очередную незрелую зазнобу с московского поезда, веселья ради вытащил на рельсы станционную скамью. Интересно ему стало, остановится поезд перед преградой заранее или, подъезжая к единственному горящему в округе фонарю, который вместе со скамейкой и есть платформа Друлево, протаранит эту сосновую доску на двух колодах. И хоть лавочку ту Пашка сам когда-то строгал и сколачивал, теперь сам же решил распорядиться своим трудом, напучил от Славки таких

поджопников на глазах у всех, кто присутствовал, что перед зазнойбой оказался навсегда опозорен. Ну не дурак ли?

Как всегда, Славке сейчас придется выкручиваться, придумывать за двоих, почему опоздали на поезд, лихорадочно соображать, как утаить самогон: бутылку-то они, конечно, заранее припрячут, в сарайке что ли, главное, чтоб Джегер во дворе не пасся, собака...

2.

В конце девяностых – начале двухтысячных, пока не жил еще в их доме приживалкой и прихлебателем конченный паразит дядя Шурик, пока отец еще хоть и выпивал, но все же сдерживал себя ради сыновей, боясь после перенесенной операции по удалению легкого попросту умереть, оставив детей круглыми сиротами, – Славке посчастливилось закончить полный курс пылинской средней школы почти отличником. Ежедневно он ходил пешком два километра по тогда еще не совсем убитой лесной дороге до грунтового грейдера, который дважды в день чистили, там паренька подбирал школьный автобус, возивший детей на учебу из Заречья в Пылинку. Автобус этот нередко ломался, когда школьников надо было везти обратно. Грейдер давал крюк в пятнадцать километров, и домой Славка предпочитал идти по шпалам – так было почти в два раза короче.

Рос Славка без матери, иногда лишь вспоминая ее смутный образ из раннего детства, но, в силу этого, очень ценил все те титанические усилия, которые Николай Степанов, инвалид первой группы, прилагал к воспитанию, содержанию и образованию его и брата.

Не особо уважая физический труд, Славка вырос человеком любознательным, мнительным и, сильно сомневаясь в своем о себе мнении, тем не менее считал себя сильной и цельной, а главное – ищущей личностью.

Когда отец говорил: "Славец, ты умный, у тебя все впереди", Славка свято верил и в свой ум, и в то, что у него действительно все впереди, верил в свое особое предназначение в будущем, как, впрочем, верил он тогда абсолютно во все, что говорил отец, умевший всегда кстати и к месту вытащить из своего богатейшего биографического короба нужный старшему сыну житейский рецепт.

Получалось так, что без материнской ласки Славка льнул к отцу, неосознанно льстил ему, играя на его тщеславии, выражая совершенно искреннее, впрочем, восхищение бабиной жизнью, бабиным характером, его советами и даже его определенными недостатками. В ответ получал ту особую любовь, которую обычно вызывает внимательный и благодарный слушатель, любимый ученик, искренний поклонник. Чуть позже, когда отец, просыпаясь после запоев, просил не стопку, а чего-нибудь витаминного, Славка, если был сезон, уходил на день-два за вторую линейку ЛЭП и веря, что его батя, наконец, надолго вернулся из пропасти, волок домой пару кузовов с клюквой – отцу на морсы и всем на зиму.

Пашка же давно был списан со счетов как конченный оболдуй, веселый, но дурковатый, росший как трава без матери и не умеющий слушать и ценить ни строгие наставления, ни добрые советы. Николай поначалу радовался тому, как, возможно, будет процветать когда-нибудь хозяйство Степановых со славкиным умом и пашкиным трудолюбием, любил говорить: "ваш дом – ваша крепость". Но после того как на пороге друлевского дома побитой собакой появился брат Николая Шурик, сильно похожий лицом и прической на певца Мика Джаггера,

и попросился немного пожить и осмотреться, в устоях семьи что-то непоправимо надломилось и крепость начала разваливаться. Пашка, обзаведясь какими-то личными делами и секретами, все меньше выказывал желания работать именно в своем доме и хозяйстве, Славка – работать вообще. Довольно скоро оказались невостребованными те отцовские истории из жизни, которые могли содержать в себе положительный пример для подражания, Славка заменил их на истории из книжек, читая все подряд, начиная с высокой классики и заканчивая статьями про актеров из газет, справочником по судебной медицине и самоучителем гипноза, который за ненадобностью подарил ему кто-то из дачников.

Славка читал даже Достоевского. Не совсем вникнув в сюжет романа, он под Пашкино глумливое ржание все же одолел книжку "Идиот". Чтение как раз совпало с выдачей Славке белого билета – у него выявили болезнь, сложное название которой он не запомнил – ее суть состояла в том, что всякий раз когда он волновался, его сотрясал каскад нервного смеха. Все беседы и осмотры в военкомате заканчивались дружным хохотом: Славка нервничал и смеялся, потому что так проявлялась болезнь, офицеры и врачебная комиссия смеялись над Славкой, и уже все вместе хохотали над ситуацией. И все бы ничего, если бы Славка не хотел служить, если бы он, как новоселковский Вася Петренко, лил бы себе в анализы кровь из пальца и допивался ворованным у матери вонючим спиртом – где Галька Петрова только его и брала! – до денных и ночных недержаний. Но Славка гурманил, позволял себе из выпивки только свойский самогон первой, самой чистой выгонки, заказывал его старому Шуту нечасто; к каждому призыву, ожидая, что его все-таки возьмут, выдернут в яркую и насыщенную армейскую жизнь из друлевского стоячего болота, он бросал курить и подучивал тексты из растрепанной книжки общевоинских уставов, непонятно откуда взявшейся в доме Степановых.

Донимая расспросами бывшего сержанта Диню Стенькина, единственного из окрестных парней, кому повезло, как Слава считал, служить по контракту не то в самом пекле, не то уже на остывающих углях чеченских войн, он слушал в ответ хоть и интересные, но небывальщины.

– Денис, а тебя поначалу в армии деда гнобили? – интересовался Славец.

– Что делали? – не понял Диня.

– Ну, заставляли тебя портянки им стирать, полы за них мыть?

– А, это... Ну ты полней, полней наливай-то... Был один у нас, сказку, говорит, расскажи на ночь. Сказку? – говорю. – Да пожалуйста... Беру дужку от кровати и как его этой дужкой промеж глаз – хрясь! Ну и больше никто, никогда...

Историю с дужкой Слава уже слышал от новоселковского Сереги Петрова, слышал еще до того, как Денис демобилизовался. Еще в рассказах Стенькина, кроме дужки, были картинные бои, зенитные пулеметы, бьющие по бандитам прямой наводкой, и неполученная звезда героя.

Уже закончились давно афган и две чеченские, а смерть свою, нелепую пьяную смерть, Диня нашел на новоселковской дороге под колесами шального грузовика.

Пашка, взрослея, все больше отдалялся от дома, все чаще калымил и халтурил у московских дачниц, иногда ночуя у них неделями. Отца он слушал, только когда Николай, хряпнув самогона, упоенно вещал о веселых своих приключениях и сомнительных подвигах времен бурной молодости. Бабки-дачницы любили Пашку за трудовое усердие, внучки, сосланные

к бабкам на лето – за веселый нрав. У Пашки водились деньги, которые он легко и почти с песней зарабатывал, также легко он их спускал на вино, чипсы и конфеты, гульбаня с этими немного недоросшими до кондиции девахами у лесного костра на поляне. Девахи эти приезжали к разной родне в Пылинку, Друлево, Новоселки, Заречье, ходили из деревни в деревню в поисках приключений, уезжали, менялись, вырастали и не возвращались, появлялись новые, и для каждой Пашка придумывал новые пути достижения своей цели. Одних он таскал за собой по бурьянам и крапиве, пообещав показать птицу-дергача, других пугал клещом и настаивал, что он, Пашка, должен непременно отыскать это смертельно опасное и очень маленькое насекомое на девичьем теле, пока клещ еще не впился, третьих водил на чердаки брошенных изб, где как будто бы был спрятан клад или водились привидения. И с теми, кто из них был постарше, поговорчивее, – у языкастого веселого Пашки доходило и до вечерних купаний, и уединений в шалашах, и даже до мытья с вениками в маленькой степановской баньке, которую Славка с Пашкой поставили у себя во дворе из бревен рухнувшей общественной бани, что стояла раньше около "прудки" в конце их улицы.

Славка же, хоть и был старше на пять лет, но женщины еще не пробовал. Вычитывая девичьи образы из книжек, выглядывая их в прошлогодних журналах, он мечтал о подруге, которая была бы душой как в романах русских классиков, а телом – как с глянцевой обложки. Во всех окрестностях Ландышевского района таких не водилось. Не знал Славка, что таких не водилось и по всей России-матушке, что то, чего он хотел, было недостижимым плодом его воображения, сильно опускающим в Славкином восприятии реальную картину мира.

"Раз здесь таких нет, то пока и не надо, – решил Славка. – Прав батя. Все у меня впереди". И потянулся к бизнесу. По телевизору много говорили о том, что планета стала ареной борьбы олигархов за ресурсы. Оставалось помозговать, на какой именно из друлевских ресурсов стоило обратить пристальное внимание. Горбатиться с сельским хозяйством и мелочиться с грибами и ягодами Слава считал несерьезным и недостойным бизнесмена и потенциального босса. Решение подсказал один из самых дельных друлевских мужиков Виктор Брониславович, нанимавший изредка ребят на подсобные работы.

Дело шло к каким-то выборам областного масштаба, и райадминистрация сделала, наконец, то, что надо было сделать еще десять лет назад – "в подарок" жителям заменила в друлево опорные столбы электролинии. Старые, деревянные, стоявшие со времен основания станции, порой уже не стояли, а обвисали на проводах, настолько прогнили у них основания. И тут понаехали бригады, и в считанные дни деревня оштетинилась высокими бетонными, с раскрестьями сверху, новыми опорами, и стало как на мемориальном кладбище – стройные ряды белых бетонных крестов, а между ними холмики крытых корой, все больше по старинке, серых приземистых изб. Вместе с новыми столбами протянули и новые провода, потому что старое вино в новые мехи не льют, как было написано еще в одной Славкиной книжке. Виктор Брониславович тогда и надоумил Степанят старый провод весь собрать, смотать и до времени припрятать, пока другие не сообразили. "Вот и будет вам на карман, – сказал Брониславич. – Ну а что не медь, и стоит за килограмм копейки, на то наплюйте, возьмете тоннажем, много здесь железа, мотки будете таскать – сами поймете. Грибы да ягоды – бабушкам оставьте около сельпо торговать, с них не прокормитесь, если только так собирать – себе на зимнюю закуску да для удовольствия. А вот металл – это да-а!".

Брониславич любил возиться с железками, работа с деревом у него не шла – не его, видать, стихией были бревна, брус, доски и горбыль, из которых он который год строил-перестраивал свою мечту – гостевой домик для охотников. Возводил его у самых зарослей, где

начиналась лесная дорога от станции к грейдеру, мечтая о том, что отбоя не будет от желающих остановиться в его “шале”, которое он украсит найденной в лесу лосиной сохой, как он начнет считать доходы и станет зажиточным и уважаемым человеком. Но местная суровая природа препятствовала в трудах и праведных, и неправедных всем без исключения, и, не давая здесь никому ни возвыситься над соседями, ни разбогатеть, быстро всех уравнивала.

Свежо было в памяти, как в избу одной из старух, что по совету дочери открыла нехитрый магазин на дому – так, мелочь: сахар, консервы, табачок да самогонка, – во время грозы ударила молния и всю избу сожгла дотла. И только ведь год как на барыши свои от торговли старушка покрыла крышу новеньким блестящим листовым железом. А в том месте, на котором строился Виктор, талыми снегами размыло на другой год грунт, и все его плотницкие труды вместе с недодуманным фундаментом поплыли, и все пришлось начинать сначала.

У Брониславыча были из богатств газосварочный аппарат и мотоцикл с коляской. И, не имея возможности платить ребятам за их работу деньгами, он помогал им, если надо было, транспортом, а когда Пашка однажды, гуляя по шпалам, обнаружил в овражке за Заречьем старую колесную ось то ли от путепрокладчика, то ли от мотодрезины, очень пригодился и сварочный аппарат – с его помощью долго потом мороковали, взяв за основу конструкции найденную Пашкой заржавленную ось, над легкой, чтобы можно было вдвоем и водрузить на рельсы и, если пойдет товарняк, быстро снять и затащить в кусты, путевой каталкой.

В итоге на роль ресурса был назначен разного происхождения цветной и железный лом, пока еще в сравнительном изобилии валявшийся по железнодорожному полотну – оттуда его было бы удобно возить на каталке. Еще ресурс водился, но в меньших количествах, вокруг брошенных изб, за огородами и у опорных столбов ЛЭП.

Первой жертвой беспощадной конкуренции стал родной дядя. Многоопытный бомж дядя Шурик неплохо ориентировался во времени и пространстве, когда дело касалось поисков денег на выпивку. И, сообразив, что едва брат Колёк выходит из запоя, как многоведерный поток самогонки прекращается сразу для всех, Джегер решил действовать. Одним ранним утром он пошарил на братовом чердаке, нашел несколько увесистых катушек медной проволоки, еще какие-то металлические запчасти и обломки, и, собрав две сумки, уехал в Ландышево, где с помощью душевно родственного ему вокзального контингента быстро отыскал пункт приема вторцветмета. Вырученные вполне приличные деньги Шурик побоялся везти домой и на неделю завис в Пылинке у своего друга детства Сашки Болта. Там, в развалюхе на краю поселка, его вычислили, нашли и долго били ногами племянники, пока упитый Болт дрых на печи.

Слава бить кого-то, ввязываться в драки, участвовать в пацанских разборках по жизни трусил, но физически был очень крепок, если не сказать силен, несмотря на невысокий рост и неказистую на первый взгляд фигуру. Дрался Славец лишь от отчаяния, когда некуда было деваться или со злости. Тогда он бил жестоко, беспамятно, не разбирая своих и чужих, ломал ребра, носы, выбивал зубы, попутно сокрушая мебель и заборы. Его уважала единичная друлёмская, и если не уважала, то уж точно побаивалась немногочисленная пылинская молодежь, ему дали прозвище Танк, с которым он согласился, а когда поселковые дворы облетела новость о Славкином белом билете, с ним вообще уже старались не связываться, а то мало ли что взбредет в голову психу...

От взбеленившегося старшего племянника, получив рикошетом и свою шальную порцию, еле оторвал дядю Джегера Пашка. После взбучки, отплевав кровавые слюны и сопли, сразу протрезвевший и ясный умом Шурик выложил подчистую всю необходимую для ведения бизнеса информацию: явки, пароли и расценки на ресурс, даже на всякий случай отдал Славке заныканные в драный носок последние сорок рублей.

После этого новоиспеченный босс объявил, что весь бесхозный металл, валяющийся в Друлёво, окрестностях и по железке вдоль насыпи, является его неприкосновенной собственностью. С этим заявлением, правда, согласились не все жители станции.

Помимо племянников случалось заниматься силовым воспитанием Джегера и брату Николаю в постепенно сокращающиеся трезвые периоды жизни. Сильно исхудавший от перенесенного туберкулеза, от нескончаемой поддерживающей послеоперационной терапии, от курева и пьянок, Николай Степанов все еще смотрелся мощным мужиком. Развитый плечевой скелет, статная осанка, озорной блеск в глазах и добрая лукавая улыбка сквозь строгие с проседью усы привлекали друлёвских баб. Вдовая соседка Зинка, медсестра на пенсии Лена, жившая на той стороне железки, и даже замужняя Заплатка Верка, прозванная так за крупное родимое пятно на щеке, не только лишь из одной жалости помогали Коле по хозяйству, приходили делать инъекции, приносили на Пасху ведра мелкой посевной картошки и выхаживали его после запоев.

С Веркой у Коли был и вовсе тайный роман. Ее муж уезжал в Тверь на вахтенные работы, и в недели отсутствия супруга Заплатка поздними вечерами приходила в Степановский дом попить чаю и, угостившись конфетками-бараночками, уводила Николая из дома к себе на ночлег.

Рано утром глава мужицкого племени Степановых возвращался и, понимая, что у него уже не хватает сил организовать на рутинный труд в домашнем хозяйстве разболтавшихся сыновей, начинал работу по выковыиванию из такого негодного сырья, каким был его брат Шурик, образцового истопника, повара, судомоя и огородника в одном лице.

Джегер временами огрызался, напоминая в такие моменты беспородную собаку, трусливые глаза вдруг вспыхивали затаенным бешенством, усы, которые он отпустил, подражая то ли брату, то ли Мику Джаггеру, всегда правда сопливые и повисшие, вдруг даже ошетинились, он тьякал: "не буду", "я не кухарка", "где твои спиногрызы" и "пусть Заплатка приходит и варит", и мгновенно подгибались его еще по молодости расписанные синими звездами на читинской зоне несгибаемые коленки, когда, даже не вставая с кушетки, брат Коля хлестким шепотом кидал ему: "Ты, пёс! Удавлю тебя!".

На долю Славки и Пашки из домашних работ оставалась лишь заготовка и колка дров да походы-поездки в поселковый магазин, да и то потому, что некогда пьяный Джегер, коля дрова, рубанул себе по ноге, и после месяц бездельничал и жаловался на большую рану. Что касается денег на продукты – все уже поняли – доверять их ему было делом глупым и бессмысленным.

3.

Наспех завершив привал на Неведомке, Степанята засобирались, прохладное сентябрьское солнце неожиданно разогнало печальную небесную хмарь и, сияющими нитями отража-

ясь в стрелке рельсов, указующей в горизонт, поторапливало ребят в сторону дома. Синие елки и восемь километров шпал в который уже по счету раз оставались позади.

Дом Степановых, на улице с официальным названием Первомайская, пожалуй, самый большой, основательный и заметный из всех домов на станции, выдвинул свой мощный фасад так далеко вперед, что своей густой закатной тенью, когда вечера случались ясными, накрывал три соседских куцых палисада. Улица эта тянулась параллельно железной дороге, отделенная от нее слоем садов и широкой полосой пустыря. Смело выдвинутый вперед, фасад этот загоразживал вид из друлевского центра на еще пару обросших осокорями брошенных уже ныне хибар и на маленький круглый пруд, который здесь исстари считали пожарным, но особо любили за чистую холодную водицу уже, когда для рабочих-дорожников была выстроена новая большая рубленая баня, и в “прудку” прям с её порога с гарком и смехом бросали свои красные распаренные тела друлевские мужики.

Когда-то ударная волна от саданувшей в этом самом, еще необжитом месте, немецкой авиабомбы выворотила десяток тонн земли в дикой рощице, обкидав комьями кроны и кусты, разметала с деревьев листья и гнезда, рассекла по живому древесные корни, барсучьи ходы, разрубил века проторявшую свой лесной путь студеную ключевую протоку. Водица ринулась в горячую, дымящуюся едким толом воронку, наполнила, остудила, очистила, и – война, не война – занялся в бочажке новый задел неприметной природной жизни. А вокруг еще стреляли, лес порой гудел от разрывов, и “прудке”, бывало, доводилось и спасать, и губить. Стихло оружие – завизжали пилы, прошли, нашинковали лес на шпалы и бревна для станционного барака, прокладчики пути – и двинулись дальше. И потом медленно обростала избами, сарайками, заборами, превращаясь в Первомайскую улицу, тропа, ведущая от того первого барака к удивительно круглому водоему с ровным чистым берегом, будто циркулем вычерченным.

Славке отец рассказывал, что однажды, отхлеставшись веником после сверхурочной рабочей смены, рванул с разбегу из предбанника в ночную воду, не чувствуя холода, занырнул в самый центр и в донном иле больно ткнулся ногой в какую-то железяку. Нырнул по молодому еще любопытству снова и снова, понять хотел, что ж там было в самой глубине, копал руками дно, пока не замерз, но вытащил и отпаривал, отчищал потом в банных тазах поднятый из прудки предмет. Каска это оказалась – военная, немецкая, целехонья – ни пуля, ни ржа ее не взяла. Славка тогда понял, о какой именно каске рассказывает отец – этим фрицевским шлемом, привинченным к длинному черенку, не раз впоследствии, избывая какую-нибудь свою вину, вычерпывали Степанята переполненный нужник.

Провинности и грешки росли и крепились вместе с ребятами, и наступило время, что какая тайная пакость ни случалась в деревне, особенно в безлюдную зиму, – подменили кому полный газовый баллон на половинный или потаскали дрова из поленницы, или пропали у кого иконки старые с чердака, да еще в серебряных окладах – кто ж такое на чердаках-то держит! – винить торопились сразу Славку с Пашкой да еще и Николая в придачу, потому как “не иначе, непутевый отец научил, малые б сами не догадались”. И веснами, возвращаясь с зимних городских квартир, потерпевший народ шел сразу к Степановым на разбор, после которого ребята, наотрез открестившись от пропавших икон, выискивали где-то и отдавали полный баллон, притаскивали обратно дрова да еще и, во искупление, помогали за так с починкой печи или еще какой весенней хозяйственной нуждой.

Совсем по малолетству в их шалостях оттенка воровства еще не было. Просто, из ребячьей глупости, озорства и тяги к новым ощущениям, что особенно было заметно в Пашке,

пацаны могли, к примеру, поджечь выброшенное кем-то дерматиновое автомобильное сиденье – лежало оно в пыли на обочине лесной дороги полгода и никому не мешало – и смотреть заворожено, как столб черного густого дыма мажет копченой сажой верхушку березы. Или накидать дрожжей кому-нибудь в туалетную дыру. Или, было такое, случайно Пашка, совсем еще мальцом, утопил в Зинкином колодце ее же ведро, и столько она ходила и нудела про это ведро, про то, когда ж и кто его достанет, или уж пусть отдадут ей свое или купят новое, что Славка разлился, подобрал на дороге гревшуюся в солнечный день гадюку и, отнеся её на конце длинной палки к углу Зинкиной усадьбы, плюхнул змееныша, как будто это была сама надоевшая им вконец соседка, в колодец вслед за утопленным ведром. Славку отец тогда выпорол, заставил колодезным крюком на шесте вылавливать гадину, но та во всех смыслах слова канула в воду, отыскать ее не вышло. А вот ведро Славка нашел, вытащил и смачно брякнул его здесь же в грязь, обрызгав соседке вылюдную юбку.

Николай, радуясь, что все обошлось по крайней мере с ведром, услав сыновей прогуляться к Петровым в Новоселки, взялся успокаивать Зинаиду, пригласил зайти и выпить чаю с ирисками.

– Коля, вот как я теперь буду за водой ходить, скажи? Вдруг она уже всю воду отравила, – не могла успокоиться вдова. – Или пойду зачерпну воды, а она меня за руку... И до больницы не довезут!

– Да ничего и не будет, Зин. Это ж мелкая еще тварь, яду не набрала, не гадюка еще, а так, – Коля махнул рукой, – гаденыш.

– Твои пацаны сами как гаденыши стали, – зло бурчала вдова, прикусывая чай ириской, а Николай, совсем сделавшись тихим и участливым, словно ему, старому волку, какой кузнец горло перековал, проворкотал ей ласково:

– А может мои ребята в тебе, Зинка, что-то разглядели? Сходство какое?

– С кем сходство? – не поняла Зинка и даже было обнадежилась, думая, с их матерью.

– Со змеей, – смеялся Николай. – Может, у тебя язык какой-нибудь особенный – длинный и раздваивается... А?

И, жмурясь в шалом прищуре, он стрельнул из-под притворно хмуренной брови таким озорным голодным взглядом, что баба сразу отмякла сердцем и не находила больше в себе сил на обиду. А Коля продолжал смотреть на нее так, будто мысленно уже держал в своих лапищах широкий и квадратный, весом и охватом со свой старый телевизор "Горизонт", Зинкин тыл.

"Слишком уж напориста, – говаривал Николай, если кто его спрашивал, отчего бы им, вдовцу да вдовице, не связать свои и судьбы и, через улицу, напротив друг друга стоящие дома. – В том-то и дело, что по разные мы с ней стороны от нашего Первомайского тракта. Вот если б рядышком, через забор, – тогда другое дело!". Имел он в виду, что Зинка и криклива, и упряма, и занудлива, и, что хуже всего, непримирима к его мужицким мелким слабостям как Минздрав. Едва какая-нибудь пьянка в доме Степановых затягивалась более чем на два дня, вламывалась досужая баба к ним в горницу раньше, чем становился слышен ее стук во входную дверь, – и пилила, и честила, и совестила Колю с друзьями-знакомыми, а позже и с Джегером, пока ее не умасливали или стопочкой или отправляя к ней ребят на помощь по

хозяйству. "Коля, ты больной! – говорила она. – У тебя одно легкое, одно! А ты пьешь! И дыму напустил, как будто их у тебя три!».

И ребята шли к ней с неохотой, потому что благодарности никакой за труды от нее не видели и не слышали, кроме опять же наставлений и еще, пожалуй, подробных рассказов о том, какая травка от чего лечит – в этом она была дока. Банки, пузырьки, бутылочки с отварами и настойками стояли у нее по всему дому везде, где находилось свободное от сохнувших листиков мяты и веников зверобоя место. Впоследствии, когда Коля с Джегером уже запивались месяцами, они, наконец, смогли оценить Зинкины аптекарские увлечения, и с утра часто приходили просить какое-нибудь снадобье – из тех, что на спирту.

И у Коли в тумбочке своих пузырьков и снадобий тоже хватало.

Еще сразу после операции врач из диспансера, понавывписав Николаю тетрадку рецептов, объявил:

– Все потроха этими препаратами, мы тебе, конечно, посадим, но, будь уверен, туберкулез вылечим!

С той поры тумбочка у Колиной постели ломилась от медицинских упаковок, пачек, пластинок, порошков и ампул, а Лена – из тех домов, что за железной дорогой, – зачастила к Степановым делать инъекции. Была она постарше и Зинки, и Заплатки, бесцветная, тихая, "баба без вкуса и запаха", как говорили друлевские мужики, бездетная, и прожила бобылкой всю жизнь. Инъекции она делала грамотно, благо больничный сестринский стаж и опыт никуда не делись. Лена любила Николая молча и безгласно, будто он был ее официальным пациентом и она боялась нарушить врачебную этику проявлением своих чувств.

– И что ж ты, Лена, такая добрая? Не крикнешь, не посерчаешь... – как всегда иронизировал Коля, пока она затягивала на его плече тугой жгут, пока прицеливалась в взбухшую вену. – Сестрой милосердия уже была, теперь только в монашки остается". И Лена, глубоко вздохнув, откликнулась с печалью в голосе:

– Да здесь у вас уже есть кому кричать да злиться...

– Если ты про Зинку, – и Коля гладил Лене ту руку, которой она держала шприц, успокаивал, – то знай, что слишком шумных я не люблю.

– Да знаю я, Коля, знаю. Ни тихих, ни шумных не любишь. Вот Вера – хорошая женщина, умеренная. Как раз по тебе.

Верка Заплатка когда-то училась вместе с Колей в пылинской школе – дружили, проводились, но без клятв, поэтому, пока еще не сложилось у них ничего серьезного, раннее вынужденное расставание пережилось легко. Николаю в колонии, в которую угодил он по "мокрой" статье в свои неполные семнадцать, и вовсе стало не до лирики, а Вера смирилась и продолжала жить, хотя парня и не забывала – писала ему письма. Сообщила ему даже, что выходит замуж и продолжала писать дальше уже в замужестве. Перестала только тогда, когда Коля уже освободился и пропал из виду. Снова объявился в Пылинке он уже с женой, которую, было видно всем сразу, он очень любит. И снова Вера смирилась и жила своей жизнью.

Лишь после всех тягот и бед, обрушившихся на него, спустя время, когда уже почти вырос Славец и стал взрослеть Пашка, она начала с помощи именно ребятам – подыскивала им работу у себя в хозяйстве – в баню воды натаскать, огород вспахать, дрова сложить, веников березовых на Троицу заготовить, – и платила им лично деньги, щедро, никто бы другой столько не платил. Потом передавать стала с ребятами подарочки для Степанова-старшего – то сигарет импортных облегченных пачку, чтоб меньше смолы вдыхал, то коньяку бутылку – чтобы пил хорошее, а не пылинскую отраву. Так незаметно у Николая с Верой все и срослось, и, хоть половинчатая, как и Колино дыхание, у них вышла любовь – только на те две недели из каждого месяца, пока Веркин муж зарабатывал деньги в Твери на вахте, – но постоянная.

Славка с Пашкой, сойдя уже с полотна на пустырь, подбираясь к садам, вспоминали, как однажды от центра станции, набравшись сплетен около заколоченного здания почты, – к их дому, умелым маневром обманывая кидавшихся на него дворовых собак, прибежал по Первомайской улице бойкий пенсионер-дачник Леша Насос.

Как всегда прицокивая языком, чмокая губами, словно наярывал и присасывал он за круглыми румяными щеками горсть мелких леденцов, Леша, или, как он просил называть себя, Алексей Иванович, требуя уважения от молодежи к своим сивым проплешинам и преклонному возрасту, нетерпеливо заколотил в дверь. Он очень спешил быть первым, кто донесет до Степановых лесным пожаром расходящийся по окрестностям страшный слух, первым, кто в самых сочных, пусть и не совсем достоверных красках, обрисует все подробности небывалого происшествия.

– Коля, Коля, открой! Убили, убили Панчеса! Панчеса убили! Где ты Коля? Панчеса убили.

И когда батя открыл дверь, Насос, не снимая ни полперденного кожаного пиджачка, ни резиновых сапог, влетел в комнату:

– Эй, ребята, ц-цц! Что ж вы дрыхнете до сих пор? Панчеса-то убили!

– Вот так-то уж сразу и убили, – подал голос Николай. – Тебе, Леша, чуть что – сразу убили...

– Это ты, Коля на что намекаешь-то? Это ты про Диню Стенькина? Так еще раз тебе говорю – Диню тогда, год назад, специально задавили машиной чечены, потому как он этой... первой чеченской кампании... ветеран.

Коля сморщился и вдруг повысил голос:

– Жопу вытиран и штаны в коптерке протиран, Диня твой. Нажрался и выполз на грейдер перед лесовозом...

Лешу затрясло от негодования, но он, справившись с собой, вспомнил, с какой, собственно, новостью явился сюда и сбивчиво продолжил:

– Так это, ц-цц, Петрёнок ходил с братом и Галька с Новоселок, туда к нему, к Панчесу. Лошадь там груженная с сумками ходит, еще с вечера со вчера груженная, выпивали они вечером у почты все, и он, и Петренки с Галькой, вон говно-то лошадиное, поди не просохло еще. Там

они, по тропе в Заломаиху лошадь нашли, а самого-то нигде нет. Пропал! И милиция уже искала. В Заломаиху пешком лейтенант ходил, там на бобике ж не проехать. Так вот лайка одна на цепи, а вторая вокруг бегаёт. А был бы дома, обеих бы пристегнул. И во второй-то избе, которая у него хлев, корова-то ревет не доена. Убили, стало-бть, Панчеса, убили!

– Ну ты, Лексей Иваныч, и репортер! – буркнул с печи пробудившийся Славка.

– А ты, мафия, помалкивай, – рассерчал что-то Насос, – ты лодырь, на тебе пахать надо, а ты железочки сдаешь, мне может, эти железочки нужнее будут, я в Москве на заводе всю жизнь честно отработал, а государство мне шиш показывает, и пенсия у меня смешная.

– У тебя, Лексей Иваныч, и фамилия смешная, – парировал Славка.

Прохиндей Леша действительно частенько навещался в те богатые на металлолом места, которые Славек уже считал своими. Чуть электрики из района покопаются вокруг столбов, заменив какой-нибудь кабель, пролет провода, Леша спешил уже договариваться, чтобы ему отдали отработанные старые обрезки. Уезжая на зимние квартиры в Москву лишь на самые холодные в году месяцы, весь бесснежный сезон он сильно отравлял Славке жизнь.

Еще Алексей Иванович Зингер мнил себя любителем старины. Зингер – вообще-то так звали его бывшую жену Елену Вениаминовну, но Леша Соловьев на заре пенсионного возраста со свойственным ему простодырым хитрованством взял эту фамилию, наивно полагая, что отныне в государстве Израиль его будут ждать с распростертыми объятиями и готовят уже пожизненный пенсионный запас золотых шекелей. Чего-то, видать, Леша недопонял, и в Израиль в итоге отправилась одна Елена Вениаминовна. А Насос-Зингер купил дом на окраине Друлево и первым делом снес двускатную крышу, переделав ее на плоскую, чтобы на регистрационных бумагах его имение значилось как участок с сараем, а не как жилье. В результате, как всегда, Леша сам себя наколол – платил меньше налогов на недвижимость, но тратил куда больше денег на латание вечно протекающей крыши.

Прогуливаясь по окрестностям, обаивая одиноких бабушек круглолицым румянцем, носом кнопкой, и свойственной многим людям с дефектами речи гипертрофированной словоохотливостью, он за копеечки скупал старенькие вещи – у кого рубль со счётами, у кого керосиновую лампу, а иной раз ему доставался и закопченный свечами образок.

Гальку Петрову в бабушки записывать было рано, хоть и выглядела она уже, – особенно, когда пыталась молодиться и подкрашиваться, с одним своим зубом, растеряв за десяток лет остальные и пропив золотые коронки, – почти как скоморошная шамкающая старуха.

И, все мечтая о каких-то хахалях, которых видимо-невидимо попеременяла она в молодости, быстро купилась на Лешино обаяние, когда он преподнес ей яблочко и чекушку. Пока, заедая спиртное, она проковыривала своим зубом узкую неровную борозду на яблоке, Леша сориентировался в Галькиной кухонной утвари и наметил себе кузнецовский заварной чайник без крышки, солдатскую немецкую кружку с орлом и, черный от грязи, окислов и сажи узенький кофейник, в котором только Насос своим зингеровским нюхом мог учуять грамм триста пятьдесят чистейшего серебра.

– Это все наследство мое, от отца, от бабушек. Еще не то было – хах-хали разворовали.

Галька, несмотря на кажущееся пьяное слабоумие, была неглупой, тертой бабой, и начала соображать, в чем к ней состоит Лешин внезапный интерес. И Леша понял, что, во-первых, одной маленькой чекушкой не обойтись, а, во-вторых, придется, хочешь-не-хочешь, изображать подобие любовного пыла. И начал заглядывать в Новоселки регулярно, как заправский ухажер, таща с собой в рюкзачке и винцо, и самогоночку и конфетки. Глядел, когда она на короточках, задом к нему, подкладывала поленца в жаркое жерло печи, и что-то давно позабытое и упрятанное под пластами Лешиних воспоминаний о молодой поре, вдруг всколыхивалось, – в голове ли, в штанах ли, – и он, дождавшись, когда пьяную Гальку рубанёт уже конопатым лицом в салат или сковородку с вермишелью, осторожно лез ей в этот бич нынешних деревенских баб – тренировочные штаны, – и шарил там рукой. Никаким больше способом удовольствия от общения с женщиной он уже получить не мог, дарить – тем более.

Платья, юбки, сарафаны, порой и длинные волосы, то есть все то, что раньше подчеркивало женственность, давно ушли из друлевского быта, подмененные соображениями удобства, рациональностью и ленью. И носили бабы на выход – в основном джинсы, а в быту – эти неизбывные тренировочные штаны с тройными лампасами. Но волосы свои, хоть уже и с проседью, но по-прежнему темной медью отливающие, Галина берегла пуще всех драгоценностей.

“Хах-халь” Леша уже успел выцыганить у полюбовницы и кофейник, и кружку немецкую, дело оставалось за кузнецовским чайничком, когда за срамным эпизодом мать и засунувшего руки ей в штаны Лешу застукал, тихо-тихо внося в дом цветы и бутылку, вернувшийся из армии на месяц раньше, чем ждали, сын Серега. Посетовав, что брат Вася где-то, по обыкновению шляется, за домом и матерью не присматривает и сейчас помочь ничем не сможет, Сергей справился и один. Содрав с Насоса старые, в пятнах, но со стрелками, брюки, уронив “этого, растудить, Ромео” животом на дощатый пол, превратил осерчавший дембель тяжелой солдатской звездчатой пряжкой бледный и толстый, как у бабы, Лешин зад в иссиня-красную агитку – “Вот теперь, тварь, красота! Вот теперь как флаг над сельсоветом!”.

Тварь на следующий день снял побои в Ландышевской больнице и отправился писать заявку напрямик в РОВД. Суд принял во внимание, что повреждений жизненно-важных органов не было, дал Сереге два года условно за хулиганство. Еще один Лешин иск об оскорблении его чести и достоинства, покопавшись в материалах дела, суд благоразумно отклонил.

Народ в деревне все еще жил по своему древнему родовому кодексу, к которому подмешались во времена пылинской колонии-поселения, ничем не противореча его устоям, лагерные понятия. И говорили, руководствуясь народным кодексом, с точки зрения справедливости стоящим выше всяких меняющихся государственных законов, что Серега прав на все сто, и суду его следовало оправдать. Про Насосу сказывали так: что он там с Галькой делал – это их свои любовные дела, но коль уж сыну её попался, то и получил верно. А вот по понятиям выходило, что Насосу досталось маловато, и надо было бы ему, если уж не вставить черенок от лопаты в зад, то как следует добавить этим черенком по горбу. И опять же, вовсе не за пьяные любовные игры, а за то, что как последний ссученый, накатал заявку в ментовку.

Был год, когда Леша приехал из Москвы не один, а вместе со слабоумным и беззлобным пьянчужкой Константином Ивановичем, отрекомендовал его как своего дальнего родственника и поселил в одном из пустых домов у пруда в конце Первомайской улицы, под боком у Степановых. Славка с Пашкой сразу по сходству оловянных глазок двоих Ивановичей, по округлости щек новоприбывшего, хоть и скрытых под бомжистой бородой, определили, что Константин – не кто иной, как родной брат Алексея, и непонятно было, с какой целью Соло-

вьев-Зингер наводит тут тайны мадридского двора, скрывая такое очевидное близкое родство. Станным показалось и то, что дождавшись тепла и свежего, пахнувшего хвоей и разнотравьем воздуха, не жалуясь ни на какие болячки, и, единственно, слегка злоупотребляя спиртным, Константин Иванович к середине лета вдруг приказал долго жить. Наглец Насос еще и изводил Колю упреками, что, мол, недосмотрели да загубили, как будто Степановы нанимались ему следить за родней или были чем обязаны.

Выслушав про лошадь и пропавшего Панчеса, загоготал Пашка и встрял с грубым сквозь смех вопросом:

– Насос, а ты Константин Ивановичу квартирку-то тогда, поди, сразу на себя оформил?

– Ц-цц, – начал было Насос что-то отвечать, но Пашка, видно, совсем решил доклевать гостя:

– Лексей Ваньч, а садиться после Петрёнкова ремня больно было?

Леша в тот момент, похоже, своими воображаемыми леденцами-конфетками поперхнулся или подавился. Темно-багровый, с визгами "пасюки", "уголовное отродье", "я это вам припомню", Алексей Зингер вылетел пробкой из дома Степановых – на улице его таки исхитрилась щипануть за штанину собака – и побежал нести дальше сенсационные новости: об убийстве Панчеса и о беспрецедентной наглости Степанят.

Юрий Панчес, сын испанского хоть и не летчика, но тем не менее пламенного коммуниста, бывший майор, сам коммунист, пережил духовный надлом, когда коммунизма не стало. Разочарованный в большинстве своих сослуживцев и сограждан еще в конце восьмидесятых, а с девяносто первого – люто возненавидев новый государственный строй, майор Панчес, наездами на охоту в эти края, – родом из-под Приозерска была его мать, – облюбовал затерянную в лесной глуши пустующую деревню, в которой пригодными для жизни оставались лишь два дома. Заломаиха называлась так потому, что лесной ручей, питающий ключевой водой Неведомку, круто, будто заламываясь, сворачивал близ деревни свое русло, и еще раз заламывался уже ниже по течению в ореховой чаще. Когда Панчес поселился здесь крестьянином-отшельником и медленно обзаводился хозяйством – наперво собаками, потом лошадью, и, наконец, коровой, – никакая доступная для колесного транспорта дорога сюда уже не вела. Вся сельская, точнее, лесная жизнь бывшего офицера-разведчика складывалась адски тяжело. Пытался иногда заманивать к себе на лето на сельхозработы местных ребят, но "миска нажористого супа, стакан и табак", сулимые в оплату за косьбу, заготовку дров, уход за скотиной и возделывание огорода, за жизнь в практически монашеской изоляции, под вой волков вместо песен и радио, всякий раз оказывались слишком малой наградой, а фронт работ – неподъемным. Не прошли испытания и нанявшиеся было к коричнево-бронзовому Юрию Родриговичу Славка с Пашкой – продержались не больше недели. Иногда в зиму, заблаговременно нагнав себе запас самогона, Панчес и сам выл вместе с волками, снующими около той избы, которая отошла под стойло для лошади и коровы. А в основном, главном, доме своего импровизированного хутора он отшельничал: периодами пил, думал, читал, молился, и цикл этот повторялся до полного наступления весны. Изредка, чтобы сделать продуктивно-хозяйственные закупки, не забыть людскую речь и узнать новости из дикого человеческого мира, он совершал конные вылазки в "цивилизацию". И здесь, в деревнях и поселках, его сразу начинали доносить вопросами о том, как он там, в Заломаихе, живет, и – что было для него, видимо, самым болезненным – о том, как он жил раньше и чем занимался по службе. Обычно, вместо рассказов о своем прошлом, угрюмо

отмалчивался, но как-то раз, захмелев, взорвался: “Да не лезьте вы в душу! Лучше сто лет с волками жить, чем про это рассказывать! В волках хоть подлости такой нет, как в той жизни...”.

Большого от него добиться не смогли.

И вот, возвращаясь восвояси после очередного выхода в мир, нетрезвый Панчес задремал и свалился с лошади. Удар о землю спровоцировал у семидесятилетнего пустынного инсульт, и, пока отмирал мозг, тело еще было живо и все отползало и отползало в кусты, в полму, пока не затихло и не одеревенело. На следующий день его все-таки нашел очередной направленный на поиски милицейский наряд.

Славка вспоминал, что на похоронах было на удивление много народа, и кто-то из толпы очень тихо, кротким голосом сказал, как чистую слезу уронил:

– Вот и кончилась Заломаиха...

4.

Николай Аркадьевич Степанов родился в Пылинке в ту счастливую пору середины-конца пятидесятых, когда Пылинская колония-поселение в рамках борьбы с пережитками сталинских репрессий была уже ликвидирована и сделалась просто поселком Советским при одноименном леспромхозе, а большая часть оставшихся поселенцев из граждан превратилась в товарищей.

Из своего детства-отрочества Николай помнил очень много, и чтобы самому скорее забыть, никогда никому об этом периоде своей жизни ничего не рассказывал. В свои шестнадцать Коля угодил в колонию для несовершеннолетних за убийство. Когда в дальнейшем кто-нибудь задавал вопрос "За что сидел?", он кратко отвечал "За убийство", и сразу переводил на другую тему, потому что он уже сам не верил в то, что когда-то, практически пацаном, сговорился со своим корешем Витькой Бурлаком распить под костерок две бутылки плодово-ягодной на речке Ворчале, на мостках, где иногда полоскали белье пылинские бабы, а у Витьки еще оказалось пол-литра самогона, и, запив самогон "гнилухой", они не поделили кусок вареной курятины, которую брали с собой. Пьяный Бурлак зачем-то шлепнул друга жирной куриной ножкой по лицу – Коля долго помнил этот хлесткий звук и ощущение липкой куриной кожи на щеке. Ошалевший, оскорбленный, в пьяном припадке ярости, в ответ он метнул вторую бутылку, еще не распечатанные тяжеленькие "ноль-семьдесятпять", в наглуую и голодную Витькину рожу. И тот, испуганно уворачиваясь, так неудачно, так нелепо подставил под удар свой мальчишеский стриженный висок...

От колонии для несовершеннолетних у Николая осталось синее, расплывшееся со временем слово СЭР на щиколотке и определенный авторитет, сгодившийся сразу по переводу его во взрослую колонию под Саранск. Из мордовских барачков, в которых ему повезло ли, нет ли наработать ряд специфических навыков, в родной леспромхоз Коля сразу не поехал, а добравшись до соседнего Горького устроился разнорабочим на автогигант ГАЗ и получил койко-место в общежитии. Таская поперву всякую тяжелую лабуду на своем горбу на заводе, по дороге на работу и обратно в трамваях и автобусах он таскал из карманов трудящихся вещи полегче. И доходило до того, что и зарплату он месяцами не ходил получать в заводскую кассу, и фрахтовал на всю ночь такси, и у таксистов же покупал дорожную водку по червонцу и еще дороже – вина, которыми угощал подвернувшихся на набережной девок. Об этой-то поре своей моло-

дости, силы и только-только полностью созревших мужских соков, пьянящих голову, зовущих жить беззаботно и рискованно, он любил рассказывать в подробностях, бесконечно повторяясь, вспоминая с любовью и гордостью о том, как он был молод, могуч, ловок и телом и мыслью. И Славка, и особенно малой еще и впитывающий как губка все подряд Пашка слушали многократно приключения бати, раскрыв рты, а бату несло вдохновение, и в этих рассказах словно звучало: смотрите, слушайте, учитесь, как легко, рискованно и вкусно надо уметь жить! Позже случилось, что Николай, потеряв осторожность от расплескивающейся легкости жизни, чуть не попался на очередной карманной краже, и быстро на локомотивном жизненном ходу пере-квалифицируясь, сколотил ватагу, вместе с которой выносил из цехов и перебрасывал через заводскую ограду бракованные запчасти. Фары, дворники, тормозные колодки и бензонасосы после смены всей посвященной бандой собирали в кустах и сбывали оптом скупщикам с авторынка.

“Славец! – наказывал он первенцу впоследствии, – если увидишь на рынке фары с треснутым стеклом, знай, что их кидали через забор, никогда не покупай – это точно ворованные!”.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем бы закончилось, если б не появилась в двойной жизни Степанова-старшего, работяги и уркагана, девушка по имени Марина. Она казалась каким-то чудом из сказки, доброй феей и ангелом-хранителем; эту маленькую хрупкую девчущку хотелось оберегать от всего грязного и нечестного, рядом с ней хотелось становиться чище и безупречнее. И постепенно, сам себе удивляясь, Коля начал завязывать с теми сферами своей деятельности, которые могли бы оттолкнуть от него избранницу или даже разлучить их, если бы, не приведи господь, пришлось бы снова садиться на нары. Занятно, что такое случилось с тертым хищником Николаем, но он слепо и без памяти влюбился первый и единственный раз в жизни. Настолько слепо и настолько глубоко, что даже испытал непонятные радость и облегчение, когда однажды в чистой и наивной фабричной девчонке Марине кто-то из мутных горьковских таксистов, Колиных знакомых, узнал бывшую путану по кличке Дюймовочка. Как ни странно, это открытие имело положительные последствия: с того момента они были на равных, и их отношения наполнились абсолютным доверием друг к другу, искренностью, открытостью и верностью. Они обрубили все концы, связывавшие их с изнанкой горьковской жизни, Марина, наконец, решила уехать с любимым в богом забытый леспромхоз, и Коля смог почувствовать, что из долгого и опасного путешествия, которое заготовила ему судьба, возвращается домой навсегда.

Жили у Колиных родителей, брат Шурик в это время служил, а затем и сидел в Чите, старшая сестра Лизавета уже давно и удачно была замужем в Выборге, закончила институт и аспирантуру. Молодые потихоньку строились на большой многолюдной станции Друлёво, где Коля устроился дорожным рабочим. Завернутого в голубое одеяло недельного Славку привезли на кукушке из родильного отделения Ландышевской больницы уже сразу в новый дом. Пять лет пролетели как в концовке почти любой волшебной сказки, где говорится про "долго и счастливо", с малышом, коровой, поросятами, полным птичьим двором и большим возделанным огородом. Но после рождения второго ребенка, Пашки, у Марины началась сильная родовая депрессия, все на станции считали, что она тронулась умом, "спортили бабу". Она усохла, начала пить, бесцельно уединяться в лесу, как-то раз, хорошо, что летом, пошла по ягоды, заблудилась и, питаясь одной черникой, вышла на железку через четыре дня, грязная и оборванная, изможденная, искусанная комарами и мошкой, в зеленой тине, – одним словом, не то утопленница, не то русалка. А из следующего своего похода вернулась и, смеясь, сказала, что ее изнасиловали.

Коля уже устал от болезненных закидонов жены, от тех мгновенных метаморфоз, которые случаясь, уводили ее от него, от детей то в морочные лабиринты сознания, то в лес, то на железку. Коля особенно боялся ее прогулок по однокорейке, не раз, переживая, рисовал в своем воображении картину, как безуспешно предупреждая протяжным гудком, сбивает ее тяжелый товарняк. Да что от нее и осталось бы, – Марина и так словно тень.

Отчего-то в этот раз он поверил ей, то ли что-то в ее голосе, нервном ее смехе подсказывало, что, может, и правду говорит, то ли столько раз она за молодость свою отдавалась всем подряд по своей воле за деньги, что ей ли о насилии говорить, тем более воображать, придумывать. И, чувствуя и рассудив, что, значит, дело было, и кто-то ее обидел, унизил, – может, били, может, заставили – кто-то посягнул и на ее, и на его, Колину, честь, выставив его, Николая, простым мужем-терпилой, он тяжелой ладонью хлестанул жену наотмашь, сбил ударом с ног, и после этого начал допытываться:

– Кто? Когда? Где?

И отвечала она безучастно, тихо, не по-живому, будто кто другой говорил, не она:

– Часа два назад. На Ворчалке, где мостки, там поляна. Трое. Не наши. Жгли костер, пили.

Николай помрачнел, минуту стоял истуканом, потом быстро стал собираться: рюкзачок, нож, топор... Выйдя из дома, направился скороходом, мягко погнал шагом в две-три шпалы в сторону мостков на Ворчалке. "Проклятое место, – думал. – И опять же костер, пьянка...".

Когда-то в далеком детстве, еще задолго до их злополучных с Бурлаком посиделок, он, двенадцатилетний мальчишка, возвращался из Заречья, от бабки с дедом, в пылинский дом к родителям. И вроде сначала, пока было солнце, морозец и искрил мелкий редкий снежок, идти было жарко, легко, но вдруг заглодало, лютей трескучий мороз к сумеркам стал невыносимым, и уже совсем замерзая, не чувствуя ног, почти дойдя до своего поселка, где были люди и тепло, как раз около Ворчалки с ее неладными мостками, Коля споткнулся о шпалину и упал. Заиндевелый лес вокруг быстро наполнялся густо-синей давящей тишиной, сливались очертания ветвей, лап, стволов, пока не остались по сторонам от железки только мутные темные стены. Пытаясь встать, подняв голову, Коля увидел совсем близко от насыпи, через канаву, большого зверя. Зверь не скалил зубы, не выл, не рычал – вообще не спешил, видимо остерегаясь запахов железной дороги, подниматься на насыпь, просто стоял, повернув в сторону к человеку лобастую некрасивую голову и следил за мальчишкой. Страх придавал сил, и Коля понял, что заточенный электрод, который он таскал с собой на случай встречи с волками, – это так, для собственного спокойствия, до тех пор, пока этого волка не увидишь воочию, – считай, что прутик, и что показывать хищнику спину и убежать тоже нельзя, да и не убежишь от него.

Поднявшись, дальше Коля пошел медленно, твердо, словно сам он, следящий за ним зверь и шпалы были одним целым, единым и единственным узлом бытия. Впоследствии он не понимал, как это получилось, видимо, перебарывая испуг, не давая запаниковать, включился древний инстинкт и волнами передавал в пространство, как позывные: "Я здесь главный зверь!".

Волк, шпала – волк, еще шпала; ни на минуту не позволяя думам, страхам, сомнениям отвлечь его, увести в мысленный туман, заставить потерять бдительность, двенадцатилетний

пацан медленно уходил от смерти. Волк шел вдоль насыпи, не отставая, и лишь когда послышался вдали лай пылинских собак, резко, в одно мгновение, бесшумно сгинул в мертвом лесу.

И сейчас, направляясь с топором и ножом в рюкзаке чинить расправу, уже он, Николай, был волком, шел, как ему казалось, спокойно, холодно, может, даже равнодушно, просто уверенный в том, что сейчас дойдет и заберет три жизни. И сможет, и сдюжит. Последний до Ворчалы километр он передвигался скрадом, сошел со шпал, чтоб те не клацали, мягко ступал по песчаной обочинке, останавливался, прислушивался, ловил носом дуновения ветра, но костра и дыма не чуял... И услышал плеск воды – не от ветра и течения, а рукотворный – кто-то был на мостках, и Николай думал, как лучше: пробраться кустами или выйти к людям ли, нелюдям открыто. Оставил рюкзак под можжевельником, взял в руку топор, нож сунул за голенище. Так и вышел. Баба, вроде знакомая, из Пылинки, полоскала на мостках белье. Напугалась сперва – что за мужик с топором? И Коля очнулся, снова он стал человеком – выбрался из волчьего образа. Поздоровался и осмотрел поляну внимательно – ни мужиков, ни костра, ни костровища, ничего, одна трава густая, некошенная, и немного примятая только на тропке к мосткам. Никаких следов, – всё ложь, морок, всё наваждение худоголовой его жены! Или, может, было да не здесь? “Куда ж ты уходишь от меня? – думал Коля. – В жуть, в бред, в туман, разве там тебе место, Марина? У тебя ведь муж, дети...”. Сел он и сидел до ночи, думал еще и про Витьку Бурлака, какой был друг верный и парень хороший, и как бы сейчас он здорово ли, нет ли, но жил...

Заполночь Николай пришел к Юре Шуту – тот только с полгода как обзавелся в Пылинке домишком, откинувшись с севера, с какой-то особой зоны, свой продукт еще не гнал, но брал неведомо где спирт, и до самого утра два волка, почуяв и признав друг друга, провели за столом в разговорах. И солнце взошло и застало их, когда Шут, держа пальцами в синих перстнях стакан, прерываясь то и дело на нездоровый кашель, рассказывал, как сиделось ему в сырых холодных бараках.

А вскоре после этого Марина пропала. Совсем и навсегда. Ничего не сказав, не оставив ни записки, ни следов, ничего, как будто бы ее никогда и не существовало, а был только один долгий и сладкий сон, от которого Коля боялся восстать, потому что никогда больше не будет такого же сна. Ее искали в лесу, в речках, наводили справки на станциях, в милиции даже вспомнили, по какой статье сидел по малолетке Николай и несколько раз возили его на допрос с пристрастием, оскорбляя подозрениями. Коля никогда не смог простить жену за то, что бросив детей, она исчезла в никуда, бесследно, растворилась в пространстве, не поставив ясную точку, не успокоив его достоверностью, информацией о том, что с ней, где она. Это отсутствие точки, окончательного и ясного знака, могилы, трупа, костей в конце концов, это гнетущее, гложущее ощущение бессмысленной надежды на лучшее и неотчетливой уверенности в худшем изматывали Николая, как бесконечная зубная боль, как жажда, не знающая утоления. Эта мука неведения отпускала лишь когда он пил горькую. И уже, может быть, ради спасения рассудка он пил все чаще и дольше, нередко зависая у Шута по несколько дней. Коля закашлял, захирел; врачи определили туберкулез, заставили обследоваться и Шута, и всю родню и коллег. И если стареющего Юру Шута успели подлечить и остановить болезнь медикаментами, то иссушенного горем и чахоткой, харкающего кровью Степанова пришлось везти на операцию. Пацанов на время отправили в Пылинку к старым, дряхлым и обовшивевшим от череды напастей Колиным родителям, прикрепили к районному диспансеру на вечное, казалось, наблюдение.

Когда нагруженные ребята подтянулись к дому, готовясь встретить сердитого батю, одетого по обыкновению в тренировочные брюки и теплую фланелевую рубашу навыпуск, меряющего

в комнатных тапочках арестантской походкой "руки за спину" выкошенный двор, их никто не встречал. В открытое окно было слышно, как гомонят в избе Зинка и медсестра Лена, им что-то неразборчиво доказывал Джегер.

Они оставили поклажу в сенцах и в избе сразу напоролась на бабьи упреки. Оказалось, что у бати температура под сорок, что в единственном легком сильные хрипы, Зинка уже успела дозвониться до скорой и вызвала бригаду – машину с фельдшером ждали вот-вот и боялись, что она засядет в луже, как только съедет с грейдера на лесную дорогу. В полубреду Николай сокрушался, что отколол ручку от бокальчика с Николаем Угодником, которую ему подарила Заплата на прошлое Рождество. Дядя Шурик отмачивал разбитую Колиным бокальчиком бровь, опасливо косясь на брата и племянников. По-хорошему, бровь надо было зашивать, но "пес" он пес и есть, заживет и так.

За пару дней до этого едва прохмелившемуся Николаю приспичило по-большому, но он был настолько слаб, что не мог дойти ни до нужника, ни даже до ведра, встать с кушетки – и то не смог, и тогда Пашка сунул ему под одеяло литровую банку, чтоб отец оправился лежа.

Старший Степанов тужился, багровел, задышался, выгонял всех из комнаты, и, наконец, промазав мимо банки, заснул удовлетворенный. Тут и заглянула к ним Зинка – проведать, сделать нагоняй всем пьяницам, обнаружила, вернее, сначала учуяла длинным носом безобразие, застыдила матюками Славку с Пашкой, плюнула на спящего Джегера, и, подняв беспомощного Колю, заставила ребят выносить кушетку на улицу и мыть ее там. Они вымыли, оставили сушить на солнце, но под нежарким сентябрьским светиллом, видно, кушетка просохла не до конца. Вечером втащили обратно, застелили чистым и, когда в ночь избу выстудило, Николай-то, наверно, и простыл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.